

# ТАКАЯ ДОЛГАЯ ВЕСНА

## ПОВЕСТЬ

**1** В этом году моему отцу исполнилось семьдесят лет, и все мы — я, сестра Людмила и наши семьи — готовились отметить эту дату. Мы живем в разных городах, но заранее списались и договорились преподнести сюрприз отцу — нагрянуть всей оравой в один день и час... Но нашему плану не суждено было сбыться.

Вечером, когда я смотрел телевизор, раздался звонок. Нехотя поднимаюсь, иду открывать. Почтальон с порога протягивает телеграмму. Наверное, думаю, от старшего сына из армии. Он недавно писал, что за отличную службу получил краткосрочный отпуск и скоро приедет домой. Беру телеграмму, читаю: «Выезжай немедленно. Отец серьезно болен. Мама». Гляжу на часы: до отхода поезда около часа. Жена вертит в руках телеграмму, а я достаю из-под кровати чемодан, вытряхиваю из него игрушки и морские раковины, которые мы с сыном купили в Феодосии. Бросаю в чемодан белье, сажусь к столу и пишу записку. Жене говорю: «Отдашь в приемную...»

— Ну, сынок... — обнимаю и целую сына, который уже сидит в моем кресле и отмахивается от меня, будто чего-то стесняется, к тому же идет военный фильм, а он ужасно любит смотреть про войну. — Ну, Игорек, поцелуй же папу.

Он обнимает меня за шею, крепко прижимается личиком, целует глаза, щеки так, как целует его мама. А я думаю о том, что нас в свое время приучали быть твердыми, без сантиментов, без всяких бабьих штучек. Слезы, боль, ласка — чепуха все это. Нужна, мол, скупость в выражении чувств.

Выхожу на улицу. Вокруг белым-бело. Днем майское солнце пригревало, а к вечеру ударил мороз, выпал снег, который покрыл землю тонким слоем. Снежок поскрипывал под ногами. На мне новые туфли, шерстяные носки, а ноги мерзнут. И суставы всю неделю болели — и вот заморозки, а было совсем тепло. Все-таки середина мая. Давненько в эту пору не выпадал снег, пожалуй, последний раз это было в 1942... Ровно тридцать лет назад.

Только тогда снег был мягче, пушистей, и выпало его видимо-невидимо. Мы сидели на уроке и смотрели не на учителя, а в окно. Снег валил хлопьями. Все ребята-первоклашки, в том числе и я, пришли в школу босиком. На дворе стояла жара. И вдруг снег...

Школа была деревянная, бывшая контора леспромхоза, а нашу, двухэтажную, каменную, заняли под казарму. После уроков мы ходили туда и смотрели, как новобранцы обучались на футбольном поле. Они кололи штыками чучела, прыгали через барьер и ползали по-пластунски под колючей проволокой. И мы вдоволь потешались над теми, которые цеплялись за колючки штанами.

Однажды, когда мы сидели на уроке русского языка, на отвале взорвалась бомба, и хотя он был в трех километрах от школы, в классе вылетели стекла. Никто из учеников не успел испугаться, кроме второгодника Васьки, забияки и драчуна. Он выскочил из-за парты и бросился бежать. Раздался хохот, и Васька, взявшийся было за ручку двери, остановился, вернулся на свое место. Он смущенно уткнулся в задачник и до звонка не поднимал головы.

Снег... снег... В конце четвертого урока к школе потянулись родители. Несут под мышками свертки: пальто, шапки, обувь. Я знаю, что ко мне никто не придет. Мама на работе, сестренке четыре годика. Может быть, соседи догадаются? Например, тетя Лена? Звенит колокольчик. Мальчишки захлопали крышками парт. Учительница попрощалась с нами. Появились родители, а я пошел домой.

Надо мной смеялись, бежали следом дошколята, кричали: «Дурачок, по снегу босиком идет...» Я шел, стиснув зубы, и сумка, как торба, болталась у меня за спиной. Дома я залез под одеяло, стучал зубами, тело сводило... Очнулся в больнице и ничегошеньки не мог понять. Рядом стояли кровати, на которых такие же мальчишки. Сестра, вся в белом, склоняется надо мной, гладит по голове, приговаривает: «Вот и хорошо, вот и хорошо...»

Да, бегут мои годочки. Став сорокалетним, гляжу на себя как бы издали. Несколько лет назад был я у родителей. Увидел из окна купейного вагона березовые леса, горы Кузнецкого Алатау, поросшие тайгой, защемило сердце.

Помню, обошел все детские местечки, побывал в старом квартале города, а потом долго сидел на скамейке у ворот нашего дома. Лето стояло жаркое. Ставни были прикрыты, улицы будто вымерли. Сидел один, пока не зашло солнце. Вернее, оно спряталось за тучу, которая состыковалась с горизонтом. Надо мной застыли легкие розовые облака. Впереди тихо урчала вода, уходя под мостик. На том берегу убирали хлеб комбайны. До меня доносился тихий шум моторов.

**2** Вот и дом, почерневший от времени. Ограда, которой он окружен, местами починена: новые доски отличаются от старых свежей краской. За оградой садик: несколько кустов малины, четыре яблони и крыжовник, черноплодная рябина — все это сажал отец. По другую сторону дома — грядки овощей. С солнечной стороны под окнами мама сеет мак и высаживает цветы. С весны и до поздней осени дом утопает в зелени.

Стою на пригорке, смотрю на дом, и отчего-то ноет сердце. Дом еще крепок. Его строили после войны. Отец, когда вернулся домой, получил ссуду, облюбывал место рядом с быстрым ручьем и березовым колком, за

которым начинались поля совхоза «Сосновский», и начал строительство. Худой, подвижный, он работал тут по вечерам и в выходные дни, в отпуск. С первым снегом мы въехали в новый дом, пахнувший стружкой и краской.

Помогал строить и я. Подавал инструмент, таскал воду, просеивал песок и шлак для раствора, в общем, делал всю посильную работу, на которую был способен одиннадцатилетний мальчишка. Иногда на стройку приходили дядя Федор с сыном Михаилом, которому было двадцать три года. Он успел немножко повоевать, имел награды. Мне нравились его рассказы о войне, бывало, не отходил от него часами. Я смотрел на него влюбленно, когда он стучал в грудь и говорил: «Мы, сибиряки, подавали фашистам жару», — показывал, как косил из пулемета вражеские цепи, и мои глаза загорались тогда лихорадочным блеском.

Отец, раскладывая еду на свежесрубленном столе, который стоял на лужайке, усмехался, хитровато поглядывал то на меня, то на Михаила: давай, мол, заливай мальчишке. А потом и сам начинал рассказывать.

Рассказывать отец любил. Он пришел с войны с орденом и тремя медалями. Часто в нашу комнату на старой квартире набивалось много народу. Отец обычно стоял посередине комнаты и был суровым и мужественным. И замечал я, как он еще крепок, какие у него сухие, жилистые руки с бугристыми мускулами.

Отца не перебивали. Женщины закрывали лица платками, а некоторые сидели с окаменевшими лицами, боясь шелохнуться. Только мужчины, которые были на войне, часто выходили покурить и, возвращаясь, торопливо усаживались на скрипучие табуретки. Заканчивал отец свои рассказы всегда неожиданно. Вдруг замолчит, задумается, тихо дойдет до окна, распахнет, смотрит на улицу, а когда вернется к столу, в комнате, кроме меня, сестренки и мамы, никого нет. Тогда он садится писать. Берет ручку, бумагу... В комнате тесно, душно. Электрический свет мешает спать. Мама ворчит:

— Ложился бы. Кому это надо-то, кому надо... Ну, пережил, испытал, все забудется, зарубцется...

Отец поворачивался, смотря на маму, кивал в нашу сторону:

— Им надо, детям...

Писал он с перерывами лет десять. Сначала на длинных бумажных лентах, нарезанных из мешков, в которых привозили на стройки цемент, а потом в ученических тетрадах. Со временем все меньше находилось людей слушать его воспоминания. Может, оттого, что он теперь читал, написанному как-то меньше верили. Однажды машинист парового крана Панков, мужчина солидный, рассудительный, всю войну проработавший в железнодорожном цехе, где отец был начальником смены, махнул рукой и сказал:

— Оставь это, сосед. Былое былым поросло. Не бери душу себе и людям. Народ забывать войну стал, понимаешь, а ты все свое...

Панков зевнул, посмотрел в пустой стакан и, видя, что пить больше нечего, поднялся.

— Бывай, сосед. Мне пора. Завтра-то в первую...

Когда за ним закрылась дверь, я обиделся за отца. Лицо Панкова —

круглое, гладкое, стало мне противным. Ну, посидел бы да послушал, не убыло бы. Раньше лезли в комнату, никто и не звал. Теперь только и слышишь: «Время нынче другое...» Может, и так. Однако в печати до сих пор появляются сообщения о судах над предателями Родины и военными преступниками.

Читая справедливые приговоры, отец удовлетворенно кивал, смотрел в темноту окон, тихо говорил: «А эти... Простить за давностью? Нет, ни забывать, ни прощать нельзя». Как-то он сколотил фанерный ящичек, вложил в него рукопись и отнес на почту. Месяц ходил веселый, напевал фронтовые песни. Работа у него в руках спорилась. Он плотничал, опрыскивал сад, начал копать фундамент под баню.

В конце месяца рукопись пришла обратно. Отец долго и скучно держал перед собой письмо, прикрыв левой рукой глаза, а затем поднялся, нашел небольшой чемоданчик, набил его тетрадами и вышел из комнаты. Вернулся он скоро. В его руках ничего не было.

И с этого дня отец сильно изменился. Он приходил с работы, и я не узнавал его: лицо желтое, морщинистое, глаза потускнели. Он о чем-нибудь спрашивал меня, не вслушиваясь в ответ, вертел газету в руках, читал без интереса. Мне иногда хотелось подойти к нему, обнять, как-то отвлечь от мрачных мыслей, но он не очень-то баловал меня лаской. «Давай, сынок, без этих нежностей, — говорил он мне. — Главное, чтобы ты рос крепким — и телом, и духом. Помни: выживают сильные...»

Много позже, когда я приезжал домой на денек-два, отец не отходил от меня. Он говорил, говорил, а я почти не слушал, только улавливал отдельные фразы: «Вьетнам, Сонгми, Ближний Восток, Ангола... Бомбят, убивают... Неймется им, да понимают ли они, сознают ли, что делают?»

**3** Подхожу к воротам, оглядываюсь на пригорок. С него, бывало, зимой лихо съезжал на санках и вкатывался прямо во двор. Просовываю руку в отверстие и откидываю задвижку. К крыльцу ведет дорожка из бракованных бетонных плит. У крыльца лежит березовый веник. Иду мимо пристроек. В той вон стаечке держали поросенка, кур, а в той — уголь и дрова, а там — баня. Подхожу к крыльцу и сталкиваюсь с мамой: увидела в окно и выбежала навстречу.

— Здравствуй, сынок, — она протягивает руки и обнимает меня. — Отец-то плох, не дождется, когда приедешь...

Мама стара. Она располнела, волосы редкие и совсем седые. Когда-то она гордилась тем, что моложе отца на десять лет. Я как-то и не заметил, когда она состарилась.

Прохожу в горницу. Отец лежит на кровати. Увидел меня, улыбнулся, сказал довольно бодро:

— Здорово, сынок. Быстренько прикатил. Молодец. Думал, что не увижу...

— Ты, отец, не паникуй... Отлично выглядишь, — ответил я, сбрасывая пальто. Смотрю на него: осунулся, постарел, глаза потускнели, руки беспомощно лежат на кровати, и я понял, что этот бодрый тон стоил ему больших усилий. И вообще я всегда удивлялся его выносливости, а ведь



он был среднего роста, худощав, с тонкими руками. Не помню, чтобы он болел, жаловался на усталость, хотя порой и замечал: на пределе отец, вот-вот свалится. Но проходило время, и он вновь улыбался, был весел, свеж и бодр. Такие, как мой отец, если уж свалятся — то веришь — это серьезно.

Вешаю пальто и пиджак в допотопный шкаф, купленный еще до войны. Не раз предлагал маме выбросить эту старую и громоздкую мебель, купить новую, но она только хмурилась: не понять тебе, дескать, сынок, вы живите, как живете, а мы уж по-своему. И всегда, переступая порог дома, я сталкивался с какой-то простотой и мудростью, этакой крестьянской расчетливостью. Так было десять, пятнадцать и двадцать лет назад.

Мама накрывает на круглый массивный стол. У нее одышка. Помню ее молодой и красивой. В войну она работала мотористкой на заводе. Уходила рано утром, когда мы с сестренкой еще спали, и приходила поздно ночью. Оставляла на день продукты, и я варил еду — пшеничную кашу на растительном масле и картошку... Мяса не было. Картошки иногда тоже не было, и тогда мы голодали. Людка плакала и просила есть.

Не могу забыть, как мама побила меня. Было воскресенье. Я пришел домой в слезах: в очереди пацан вырвал у меня из рук продовольственные и хлебные карточки, и убежал. Мама порола меня ремнем, плакала сама, редела Людка, а я молчал. Соседи отобрали меня у впавшей в беспамятство матери. Этого я ей долго не мог простить. В тот злополучный день мне исполнилось восемь лет.

Ох, тяжело нам пришлось без карточек.. Соседи помогали, как могли. И если я кому благодарен, то это моему другу Толяну, молчаливому, изобретательному и душевному, который постоянно подкармливал меня и сестру, хотя им самим жилось несладко. Осенью мы с мамой выкопали картофель, который сажали в поле, вывезли на тележке, ссыпали в подвал. Теперь и голод был не страшен. Эх, картошка, родная, сибирская! Надо бы ей какой-нибудь памятник придумать. Что бы мы делали без нее, чем бы питались?

Сажали картофель все. Транспорта никакого. Тащиться надо было за десять километров, по бездорожью, запрягшись в тележку. Да не раз, не два, а три-четыре. Мама возила одна. Сестренка сидела дома, а я ночевал в поле, сторожил картошку. Сколько слез пролил — и страшно было, и холодно, хотя укутывала меня мама тепло: усаживала на шубейку между кулей, сверху стелила одеяло, и получалась маленькая берлога. Сидел я в ней, проклиная эту самую картошку, которой, однако, только и был сыт.

— Садись, Андрей, за стол, — слышу, наконец, голос мамы.

На столе — сковорода с жареным картофелем, вареная говядина в алюминиевой чашке, деревянная разрисованная ложка. Тут и молоко, сметана. Чуть в сторонке — графинчик с водкой и соленья: помидоры, огурцы, грузди. Бог ты мой, как давно я не был дома!

— Как друзья поживают? — спросил я у мамы, усаживаясь за стол.

— Только вчера был, о тебе все расспрашивал. С отцом посидели... Сходил бы к нему... Уехал куда-то и живешь бирюком...

В ее словах я уловил укор... Что поделаешь, если у меня так сложилось. А для мамы мой друг всегда Толька, хотя он давно уж Анатолий Иванович, заслуженный сталевар. Он недавно сварил сталь новой марки, и его наградили. Об этом я узнал из областной газеты.

**4** С Толяном мы дружили со второго класса. Он рос тихим, застенчивым, был крупным, но, несмотря на это, его часто колотили на переменах. Как-то он пришел ко мне во второй «б», стал у моей парты, размазывая слезы. Я поднялся и пошел за ним во второй «а». До звонка оставалось около минуты. Он показал мне обидчика, я смело подошел к нему и влепил пощечину. Это было неожиданно. Драчун моргал глазами, я же, погрозив классу кулаком, смылся.

Толян привязался ко мне с тех пор. Его отца — дядю Ивана — на фронт не взяли. Он работал машинистом паровоза. У Толяна были братишка Игорек и сестренка. Я часто ходил к ним. Дядя Ваня и тетя Поля относились ко мне хорошо.

Нежданно-негаданно на эту семью свалилось несчастье. Холодным осенним вечером заболел Игорек. Всю ночь он метался в жару, а утром помер. Хоронили его всей улицей. Как-никак, а мы жили дружно, знали друг друга. Наши родители, уходя на работу, поручали соседям смотреть за детьми. Особенно добра была к нам тетя Поля. После смерти Игорька, бывало, соберет детвору, приведет, домой, поставит огромный чугунок картошки и скажет, утирая глаза передником:

— Ешьте, дети. И смотрите, не бегайте босиком. Вон как на улице задувает...

Померла тетя Поля. Через месяц, как Игорька похоронили. Она работала на путях, подняла что-то тяжелое... Общее горе сблизило нас. Жили мы рядом, в одном подъезде. Дом наш стоял у базара, который и поил нас, и кормил. Летом мы торговали водой, а на вырученные деньги покупали еду.

Как-то Толян принес целый туесок сметаны. Мы позвали сестер и хлебали ее ложками. На улице он признался, что стащил туесок на рынке.

— Ты в своем уме? — испугался я.

— Когда сметану ел, чего думал? — усмехнулся он. — Идем, покажу, как это делается...

Он протянул мне руку, и мы пошли с ним на рынок. Там, пробившись через толкучку, мы подошли к ряду. Толян присел, отогнул фанеру и в образовавшуюся брешь сунул голову. Затем он повернулся ко мне, подмигнул, нырнул под прилавок. Я стоял и ждал, что будет дальше. Мимо проходили мужчины и женщины — с сумками, авоськами, холщовыми мешками, озабоченные, крикливые, перепиравшиеся с торговцами. На прилавках торговцы разложили иголки, лезвия, пугачи с глиняными пулями, игрушки, вареную картошку, пирожки, сметану в банках и туесках, мед, семечки... Здесь можно было купить все.

Вылез Толян. В его руках была сумка. Он кивнул мне и пошел к забору. Перебросил через него сумку, полез сам, я за ним. Мы очутились

во дворе клуба, где густая трава, росли кустарники и деревья. В сумке оказался деревенский сыр и хлеб.

Вечером Толян учил меня бесшумно лазить под прилавками. Мне казалось, что я научился этому и переплону друга, но жестоко ошибся. На следующий день я залез под прилавок, увидел два бидона — большой и маленький. Я пожалничал, взял большой, в котором оказался мед, потащил его к дырке, но силенок у меня не хватило, и я уронил бидон на ноги торговке. Она взвыла от боли, выволокла меня за волосы, а подошпевший хозяин начал лупцевать бичом. Я вертелся волчком, а он стегал. Тут закричала его жена:

— Караул, деньги украли!

Пасечник оставил меня, бросился к жене, а я тем временем перемахнул через прилавок. Иду домой и реву. У подъезда дома встретил ухмыляющегося Толяна, поднял рубашку и показал ему кровавые полосы на спине.

— Ладно, не будем больше, — вздохнул Толян. — У-у, жмоты... Идем, Андрюха, на чердак, покажу тебе чего-то...

Мы забрались на чердак, подошли к окну, и он вытащил из кармана пачку денег.

— Живем... Пока он тебя стегал, я у тетки и хапнул, — бесхитростно начал рассказывать Толян. — Лупцуй, думаю, подольше, а сам через забор перелез. Они, когда ты бидон поволок, близко к дырке сидели, деньги по пачкам раскладывали — сотни сюда, полсотни туда, тридцатки... Просунул я руку — хвать одну пачку...

Это было летом 1944 года. Меня и Толяна после случая с бидоном дразили «мазуриками», хотя мы больше под прилавок не лазили. А все Васька Гаркал разболтал: видел, как меня пасечник охаживал. Васька часто шатался по рядам с протянутой рукой. Ему иногда подавали, а зачастую гнали. Завидя нас, он кричал, свистел. Мы убегали от него, но он ходил за нами по пятам. Мы его крепко колотили, но и это не помогало: он был какой-то нечувствительный к боли. Тогда мы от него откупились. Толян отдал ему последнюю сторублевку, и у Васьки глаза округлились. Он мял купюру, нюхал, смотрел на свет и был смешон в своей рваной рубашке, залатанных штанах, с холщовой дырявой сумкой на плече.

Хуже было с ребятами постарше. Они взяли моду шпынять нас. Особенно доставалось Толяну. Он ходил с синяками. И мы начали мстить. Обидчикам нашим жилось неплохо. Их отцы имели броню. Они не голодали, щеголяли в американских куртках и штанах с застежками-молниями, у них были старшие братья, которые за них заступались в школе.

Мы с Толяном выслеживали обидчиков по одному на речке, в березовом лесу и лупили. Нас стали побаиваться, никто теперь не играл с нами, а мы в их дружбе и не нуждались. И позже, когда вернулся мой отец, а отец Толяна женился, взяв в дом вдовушку солдатку с сыном, нашим ровесником, мы нашли себе убежище на чердаке. Там мы читали книги, не интересуясь именами авторов, не запоминая заглавий. Я потом много читал, но никогда не читал с таким бешеным увлечением, как в то далекое детство. Незнакомый, неясный, малопонятный, но удивительно пре-

красный мир вставал передо мною. Я плохо разбирался в страстях и мыслях человеческих, но они подымали во мне бурю, с которой я порой не мог совладать. Я ходил, как чумной, ничего не видя, улыбаясь чему-то своему, сокровенному.

Теперь ребята дразнили нас «трахнутыми», а когда мы поступили в ремесленное училище, — «паршивыми фэзэушниками». Толян попал в группу сталеваров, а я — в группу слесарей. Это меня обидело. Хотя он был крупнее, но я все-таки половчей. Ведь не он за меня заступался. Ему больше доставалось. На меня редко нападали. Но разве объяснишь все это приемной комиссии? Я был самолюбив и страдал. В наших отношениях появился холодок. По моей вине.

**5** Я сижу у кровати отца. Рассказываю ему о своей работе, жене и сыне. Мама убирает со стола и прислушивается к нашему разговору. Отец улыбается, когда говорю о сыне.

— На будущий год, говоришь, в школу? — отец смотрит куда-то в сторону. — Читает уж всю. Неужто не доживу?.. — он смотрит вопрошительно. В его глазах боль и тоска. Сам отвечает: — Доживу, как пить дать...

— Конечно, отец. Сам рассказывал, что дед и прадед жили по девяносто...

— Дак это ж кержаки были... На вольных-то сибирских хлебах да на медку липовом, опять же охота, промыслы. Они того не испытали, что досталось на мою долю. — Отец глазами показал на потолок. — На чердаке тетради-то лежат. Двадцать годочков уж... Забери-ка. Внук подрастет — читать будет.

Выхожу на улицу, поднимаюсь по приставленной лестнице на чердак. Внук, говорит, читать будет. А если он не захочет?

Совсем недавно показывали многосерийный военный фильм. Я сидел и над некоторыми эпизодами плакал, а зал был почти пуст...

На чердаке валялись старые книги, поломанная мебель, порванные сумки и чемоданы. Переворошив рухлядь, нашел маленький чемоданчик, весь заплесневелый. Поднял, а у него отвалилось дно. Посыпались полустлевшие тетради. Те, которые лежали сверху, уцелели. Я собрал все тетради, спустился вниз. В бывшей моей комнате разложил их на столе и стал просматривать. Две трети погибло. Как жаль, что рукопись сохранилась не полностью.

Я зашел к отцу, он спал. Мама сидела на табуретке и вязала носки.

— Лег на диван, стонет: помираю... Я за Иваном сбегала, отцом-то Толькиным. Пришел Иван, посидел малость и за врачом, — начала она тихо. — Приехала врач, строгая худая женщина. Осмотрела она отца, вызвала меня сюда, размяла длинными пальцами сигарету, закурила, потом и говорит: «Паралич у него...» и так это посмотрела на меня жалостливо, куда строгость ее подевалась, спросила: «Дети у вас есть?» Сын, отвечаю, дочь — в разных городах живут. Давайте, просит, адрес вашего сына, телеграмму pošлю ему...

Я прошел в свою комнату, лег на кровать. Ни о чем не хотелось ду-



мать. А тетрадки надо увезти домой, как велел отец. Вот они — лежат на столе и пахнут плесенью. Беру сверху, по порядку, начинаю читать, с трудом разбирая написанное, потому что во многих местах чернила расплылись, а кое-какие страницы вообще прочесть невозможно.

### *Из первой тетради*

...27 мая 1942 года нашу часть окружили немцы. После нескольких ожесточенных боев мы остались без боеприпасов и продовольствия. Бойцы залегли в лесу. Отстреливаться нечем. Спасаясь от гусениц фашистских танков, к нам подходят окруженцы из других подразделений.

Лог обложили танки. Из рупора несется:

— Руська зольдат! Сдавайсь!

Мы лежим, уткнувшись в землю. Никто не поднимается. Надеемся, что подойдет подкрепление. Заговорили пулеметы, и громыхнули пушки. Колыхнулась земля. Застонали раненые.

Над нами закружил самолет. Полетели листовки: «Шестая и седьмая армии разгромлены. Москва пала. Сталин бежал за Урал...»

На вторые сутки раздается команда:

— Руська зольдат есть плен! Выходи!

Поднимаемся. Некоторые, обессилев, цепляются за товарищей. Идем на запад. Сзади раздаются выстрелы. Немцы добивают раненых, которые не могут идти. В душе пустота. Мозг сверлит одна мысль: как бы не упасть. Безвыходность угнетает.

Нас строят в колонну по пять человек. Крики: «Шнель, шнель!» Но колонна движется тихо. Немцы бьют пленных прикладами. Из нашей группы двое выходят на обочину и тут же падают, скошенные автоматными очередями.

День жаркий. Во рту пересохло. Внутри горит. На пути попадают ручейки, но пить нам не позволяют. Когда проходим по селам, женщины ставят на дорогу ведра с водой. Немцы опрокидывают их.

К вечеру нас подогнали к реке. Место низкое, заболоченное. Ложимся в грязь. Ночь ужасная: холод пронизывает до костей, комарье заедает.

С восходом солнца поднимаемся. Грязные, с опухшими лицами, шатаемся от усталости и от ран. Нас снова строят в колонну. Я поддерживаю земляка, соседа Петра Гаркала. Жили рядом, сыновья у нас погодки. Мы покаялись держаться вместе. Он висит на моем плече, еле волочит ноги. Хорошо, что не ранен. Просто обессилел: ведь не ели несколько суток. Сбоку, на бугре, эсэсовец нетерпеливо поглядывает в нашу сторону.

— Быстрее, Петр, быстрее, — говорю ему и не узнаю своего голоса.

— Иначе для нас это болото станет могилой.

— Не бросай, ради бога, вот только ноги разойдутся, — шепчет он лихорадочно.

— Скажешь... бросить... Васятке твоему как в глаза смотреть буду? — говорю, а сам думаю: не завалиться бы. Тогда конец. Нет, выкарабкаемся. Верю, что вернусь домой.

Петра начинает рвать. Выволакиваю его на дорогу. Пристраиваемся в хвост колонны. Эсэсовец вопросительно смотрит на нас. Презрительная гримаса застыла на его лице-маске. Перед моими глазами прыгает круглое отверстие с мушкой. Фашист будто играет с нами. Заходит сбоку, спереди, сзади. Видит ствол автомата и Петр. Он выпрямляется, отпускает мое плечо, шагает рядом. Ему, видно, стало легче. Фашист разочарован. Ждал той минуты, когда упадет Петр, и тогда он нажал бы гашетку. И все-таки выстрелы раздаются. Мы вздрагиваем. Скашиваю глаза: на дороге лежат двое пленных. Они шли последними, отставали...

Километров через пятнадцать привал, садимся на дорогу. Метрах в сорока — большая дождевая лужа, и я беру пару котелков, подхожу к офицеру. Офицер понял, кивнул. Со мной пошли еще несколько человек. Едва подошли к луже, раздается команда, колонна поднимается. По нам открывают огонь. Бросаемся к колонне... До нее добежал я один...

В полдень нас остановили. Подвезли продовольствие. Фашисты берут хлеб и швыряют в колонну. Один из них ногой подбрасывает булку, жонглирует ею, как футболист, и с ходу, с разворота, через себя, бьет по толпе, как по воротам. Сбивая друг друга с ног, пленные ловят хлеб, кроша его, таптыкают в грязь. Конвоиры хохочут.

— Отставить, — кричит один из пленных командирским голосом. Он стоит близко от меня, и я вижу, как порозовели его бледные щеки, как ходят желваки и двигается кадык. Он поворачивается к фашистам, глаза его горят ненавистью. — Они потеряли все человеческое. Из нас хотят сделать животных...

Разжимаю кулак, и на землю посыпались грязные хлебные крошки — все, что я смог добыть. Что же это мы делаем? Как поддались минутной слабости? Голод?.. Колонна замерла. Мы смотрим на хлеб, лежащий в грязи, молчим. Спазмы сжимают желудок. Некоторые стали падать в обморок. Появился офицер.

— Коммунист? — ткнул он пальцем в грудь красноармейца, подавшего команду. — Политрук?..

Не дождавшись ответа, офицер что-то сказал охране. Двое схватили пленного, посадили в мотоколяску и увезли.

Видя, что спектакль не получился, фашисты засуетились, быстро организовали раздачу продуктов. Пленные санитары получили пайки и стали кормить раненых и больных. Некоторые из них подходят к кухне и получают сами. Вдруг офицер задерживает двоих, разматывает на них бинты. Ран не оказывается. Он ставит пленных около себя, дает обоим по куску хлеба с маслом. Когда они их съели, офицер напоил пленных кофе из фляжки, а затем выхватил пистолет и застрелил обоих. Нам он сказал, что так будет с каждым, кто попытается обмануть немецкого офицера...

### *Из второй тетради*

...До пересыльного лагеря под Харьковом дошли самые крепкие. Было темно, когда нас туда загнали. Шел дождь. Мы попадали от усталости на землю. Навеса — никакого. Я забылся. Состояние бредовое. Вокруг сто-

нут, кричат, плачут. Петр Гаркал чему-то тихо смеется. Я толкаю его в бок, и он затихает. Нас тут несколько тысяч.

После двухнедельного «карантина» я попал в группу для отправки в другой лагерь. Петра Гаркала отправили днем раньше, с другой группой. Мы успели обняться с ним. «Пропаду я, пропаду, — отчаянно выкрикивал он из колонны. — Прощай! Сыну передай...» Я не расслышал, что должен был передать его сыну Васятке, удивился: он, оказывается, верит, что я отсюда выберусь живым. Он и на призывном пункте мне говорил: «Ты, Пичугин, крепкий. Закваска у тебя кержацкая — все выдюжишь...»

Колонну подогнали к железной дорожке, где стоял состав, и посадили в товарняки. К нам в вагон натолкали столько, что мы стояли вплотную. Когда закрыли дверь, сразу стало душно. Послышались стоны и вопли: «Задавили!..»

В Харькове открыли дверь и бросили десять буханок хлеба. Парень схватил булку, и пока ее у него отбирали, успел съесть половину. Через несколько минут он закорчился в судорогах и умер. Мертвых из вагона не выносили, и они стояли вместе с нами. На Житомирском вокзале нас высадили, привели в лагерь, который находился в бывших военных казармах, построили на плацу. Гестаповец через переводчика спросил, есть ли среди нашего брата коммунисты, комсомольцы, комиссары, политруки, командиры, евреи.

— Кто смелый: выходи! — крикнул переводчик, толстомордый, в немецкой форме, с плетью на запястье. — Язык отжевали? Вешать не будем, если сами признаетесь. Найдем — хуже будет...

— Хуже этого не будет, не пугай, холуй, — вышел из строя изможденный пленный в солдатской гимнастерке с короткими рукавами. Он подошел к гестаповцу и распахнул ворот. — Стреляй, паскуда! Палач!..

— Вот перед вами комиссар, — по-русски сказал тот. — Гимнастерку с рядового снял? Куда свою дел? Спрятал... Испугался за свою шкуру — рядового в кустики отвел и шлепнул, — кривлялся фашист, — не спеши, комиссар, на тот свет, мы тебе сейчас попутчиков подберем...

Полиции выволокли из строя несколько человек. Гестаповец повысил голос:

— Вот перед вами комиссар и евреи. Это они затеяли войну и заставили вас, простых людей, сражаться. За это мы их расстреляем...

Обреченных отвели в сторону. Раздались выстрелы. Нас завели в ограду, приказали строиться на обед. Проходим к кухне мимо трупов. Получаем по черпаку баланды. Половине пленных баланды не хватает. В чан насыпают прелую муку, заливают ее кипятком, размешивают, и выдача продолжается.

После обеда — баня. Загнали нас под душ человек пятьсот. Несколько минут шла теплая вода, а потом полилась холодная. Ворвались полиция и стали дубинками выгонять всех на улицу, на холод. Выстраиваемся в очередь за новым обмундированием: полосатой робой и деревянными башмаками. Когда группа была «одета» и «обута», нас вновь погнали на вокзал...

...Попал я в Львовский лагерь смерти. Это была бывшая австрийская крепость. По обе стороны ее, на углах, возвышались две круглые башни, похожие на железнодорожные водокачки. Загнали внутрь трехэтажного кирпичного здания, закрыли за нами железные двери, провели в подвальное помещение. Здесь было темно и сыро. Сели на бетонный пол. Вдруг подвал осветился.

Появились два полицейя.

— Мы тюремные старшины, — объявили они. — Чего молчите? Помирать собрались? Нет, ребята, вам сразу сдохнуть не дадут... Хоронить умерших кто будет?

— Вас, холуев, заставят. Задарма, что ли, хлеб немецкий жрете? — слышался спокойный голос из глубины подвала.

— Поговори там еще, доходяга, — бросил полицейя, который был выше первого, худой, с усами. Он стоял ближе ко мне, и я мог хорошо его рассмотреть. — Чего уставился? — он двинул меня в бок сапогом. Первый захихикал:

— Жратвы не будет... Не приготовились... Кто знал, что вас будет так много. Завтра получите — каждый свое...

Они повернулись и ушли. Наступила темнота.

На другой день меня зачислили в похоронную команду, выдали длинную палку с крюком на конце. Мы ходили с полицейями по камерам, вытаскивали умерших заключенных на плац и складывали в штабеля. Другая группа пленных грузила трупы на подводы и увозила на кладбище.

Пробыл я здесь несколько месяцев. Каких только издевательств фашисты не придумывали. Разденут человек двадцать донага, дадут в руки плети, поставят в две шеренги лицом к лицу, прикажут бить друг друга и кричать: «Мы преступники, мы преступники...» Или делали клетки. Опутывали их колючей проволокой, сажали голого человека, и он сидел там, согнувшись, часами. Такие клетки стояли в ряд по несколько десятков там, где строй проходил на обед. После таких экзекуций мало кто выживал...

**6** Откладываю тетради в сторону. Голову стиснуло, будто обручем. Хочу заснуть, но не могу. Кое-что из прочитанного я слышал от отца, но тогда все воспринималось иначе. Что я знал тогда о смерти?

Те солдаты, которые погибли в бою, которые умерли там или были замучены, сожжены, растерзаны, не воскреснут. Они существуют в моем сознании как нечто несоизмеримое. Двадцать миллионов!

Вспоминаю, как мы с Толяном впервые пленных немцев увидели. Не в кино, а в нашем городе! Живых! Летом это было. Жара стояла невыносимая. Асфальт расплавился и походил на черное месиво. Город облетела весть: на вокзал прибыл эшелон с военнопленными. По обеим сторонам проспекта выстроились горожане. Многим хотелось посмотреть: какие же они?

Подул ветерок. В воздухе — тучами пушинки с отцветающих тополей.



Они лепятся на асфальт, и оттого главный проспект кажется убранным белым покрывалом. И вот по нему шла колонна немцев. С любопытной жадностью вглядываемся в их лица. До этого мы их видели на плакатах, в кино: с автоматами и засученными рукавами, с плетьюми, а еще факельщиков, поджигающих города и деревни. Помню, когда смотрели фильм «Зоя», женщины плакали в голос.

Пленные немцы чисто выбриты. Обуты в ботинки. Под их ногами слышится хруст. После мне не раз приходилось видеть колонны немцев в нашем городе. Зимой они были тепло одеты — в полушубки и фуфайки, а летом — в целехонькие шинели. Иногда они улыбались нам, но мы не отвечали им. Для них война окончилась, а для нас она продолжалась. Они знали, что вернутся домой, а мы продолжали получать похоронные.

Сразу после войны пленных расконвоировали. Они свободно ходили по городу, выстраивались в длинные очереди у пивных ларьков. Никто к ним не подходил и не приставал, кроме ребятни. И вскоре они промаршировали по городу на вокзал. Они шли с чемоданами и дружно пели...

После первой встречи с пленными немцами мы с Толяном шли домой и спорили. Толян говорил:

— Раз уж их привезли в Сибирь, значит, войне скоро конец. Эх, и заживем тогда! У них воевать скоро будет некому. — Его лицо с большим носом улыбалось, он растопыривал руки. — Посчитай, сколько у нас городов... Везде, поди, их полно, немцев-то пленных. На восток еще повезут...

— Привезли их подальше от линии фронта потому, что неизвестно, когда кончится, — возражал я. — Сам подумай: зачем их держать рядом с фронтом?

Мы спорили до хрипоты, но каждый оставался при своем мнении. Чтобы как-то найти истину, мы приходили в школу пораньше и долго стояли у карты, которая висела рядом с расписанием уроков. На карте географ ежедневно отмечал красным карандашом линию фронта. Иной раз медленно, а в последнее время быстрее, линия передвигалась на запад. Тут же толкались старшеклассники. Они пересказывали военные сводки: сыпали цифрами сбитых самолетов, сожженных танков, называли десятки освобожденных городов и деревень, с видом знатоков обсуждали операции, водя по карте указкой.

После уроков мы убегали на стройку. Усаживались на пригорке и наблюдали, как пленные рюют котлованы, возят тачками землю, забивают сваи тяжелой бабой. Близко к ним не подпускали. Нам же с Толяном хотелось поговорить с ними, для чего мы выучили по несколько немецких слов. Однажды мы увидели их в двух шагах от себя, но поговорить нам не довелось...

Это было в плодопитомнике. Договорились мы с другом поработать там с недельку, чтобы получить талончики и купить на них малины или смородины. Толян в арифметике посильнее. Он подсчитал, что за два ведра ягоды, если продать ее стаканами, купим ведро картошки и булку хлеба.

Встали мы с первыми петухами, вышли на улицу и подались на останковку. Дома, как обычно, никому о цели своего путешествия не сказали.

Вышли из квартир, когда родители наши спали. Мы взяли с собой куску хлеба и по пучку лука с солью. Лук мы купили вечером у широко-скулых шорок, которые привозили его на рынок.

Сели в старенький автобус. У конторы плодопитомника упросили двух теток, чтобы они провели нас на территорию, поскольку маленьких без родителей не пускали.

Убирали малину. Она росла длинными рядами. Часа два поработали, а на большее нас не хватило. Съев у теток ящичек отборной малины, мы завалились в кусты. Вскоре они не досчитались одного ящика и прогнали нас. Хотя и сорвались наши планы, но ягоды мы наелись до тошноты. Тут еще на смородину наткнулись. Стали есть ее с хлебом и луком. Набили такую оскомину, что языки не ворочались.

При выходе из плодопитомника мы и наткнулись на пленных немцев. Они грузили ящики с ягодой на подводы. Среди них были толстые и худые, в их лицах не было той свирепости, какую мы себе представляли. «Завоеватели» были самыми обыкновенными людьми. Ничего такого, чтобы указывало на их исключительность, мы с Толяном не заметили. Однако они были врагами. Работали бы себе в Германии. Никто их сюда не приглашал. Нет ведь, воевать пошли, Европу, весь мир захватить решили. Земли им мало. Из меня и Толяна рабсилу хотели сделать...

Они задевали нас полами синих халатов, которые развевались от ветра. А вдруг какой-то из них догадался, о чем я думал? Кто их поймет, этих немцев. Влепит подзатыльника или поддаст пинка. Что с них возьмешь? И я приврезал, аж пятки засверкали. Толян за мной. Остановились, когда выдохлись. Смотрим друг на друга и смеемся.

— У тебя рожа, — кричу, — вся розовая от малины...

— У самого-то, как у пороса, — с трудом выговаривает Толян, держась за скулы. — Эх, как болят-то...

**7** В голове отрывочные эпизоды из далекого детства. Отгоняю их прочь. Что-то сестры Людмилы нет. Перед отъездом, на вокзале, дал ей телеграмму. Она живет в Горной Шории, работает на руднике после окончания института. Возможно, она задержалась потому, что в горах выпал снег. Дорогу на станцию занесло. Вероятно, в эту минуту бульдозеры расчищают заносы, а за ними движутся колонны автомашин с рудой, и в одной из них, в кабине, сидит сосредоточенная Людмила.

Сестра на четыре года младше меня. О том времени ничего не помнит. Всю войну она просидела в комнате, проиграла в куклы. Бывало, когда мы собирались вместе, а это случилось не так часто, я рассказывал о прошлом. Мама кивала головой, отец помалкивал, а она удивленно говорила:

— Не может быть... Сочиняешь... Совершенно этого не помню...

Я злился, а она, строгая, красивая, сыто зевая, пожимала плечами. Ее не мучают воспоминания, кинофильмы о войне она не смотрит, книг на эту тему не читает. Это ее равнодушие к прошлому выводило меня из себя.

Людмилы нет... и никого нет. Рука невольно тянется к отцовским тет-

радам. Знаю, что там будет: борьба за существование. Такова жизнь. Хочется крикнуть во весь голос: ненавижу, ненавижу войну и несправедливость, насилие, предательство.

### *Из четвертой тетради*

...Из Львова я попал в Станислав. Под усиленным конвоем нас прогнали по всему городу к лагерю, который был огорожен каменной стеной. В центре стояла кирпичная конюшня. Она и служила пристанищем для советских военнопленных.

Нас загнали в отдельную половину на трехдневный карантин. Утром всех подняли на проверку, после которой выдали завтрак: по пол-литра баланды. Тут же, через проволоку, мы познакомились с нашими соотечественниками. Это были ходячие скелеты. Одежда на них висела клочьями, и по ней ползали вши. Если бы кто глянул на них со стороны, испугался. Но мы привыкли ко всему, да и сами, пожалуй, выглядели не лучше. Они нам рассказали, что их осталось триста человек от сорока тысяч.

Эта конюшня была адом. В ней помещалось до тысячи человек. Коек всем не хватало. Посредине наваливали солому, в нее зарывались, спасаясь от холода. Среди нас были раненые и больные. Фашисты, как правило, ни раненым, ни больным помощи не оказывали. Они просто стреляли в солому, убивая тех, кто не подымался. Трупы долго не убирали. Живые по нескольку дней спали рядом с мертвыми.

После карантина нас заставили оборудовать корпуса для голландских военнопленных. Фашисты спешили: каждая группа получала конкретные задания. Мы были истощены, еле передвигались и заданий, естественно, не выполняли. За это нас лишали пищи, избивали плетьюми.

Не забыть фашиста — садиста, худого, в очках. Его мы называли рыжим чертом. Он никогда не расставался с палкой и карабином. Его боялись, как огня. Кто попадал в его группу, быстро прощался с жизнью. Обычно в лагерь он приводил двух, а то и одного из десяти.

...Неподалеку от лагеря возвышались холмы, и администрация лагеря решила их разровнять. Гоняли нас на работу по 40—50 человек. Работали под руководством пожилого прораба немца. Он был грузным, низкого роста, по-русски говорил плохо.

Землю мы возили тачками. Прораб следил, чтобы каждый насыпал с верхом. Если кто вез неполную, он останавливал, приказывал досыпать, вспрыгивал на тачку и утаптывал землю ногами. Иногда он усаживался в нее, стегал пленного, и тот вез его до тех пор, пока не падал. Мы вздохнули свободно, когда узнали, что за «хорошую» службу он получил отпуск и уехал.

Прораб из отпуска вернулся быстро, сильно изменившимся. Он сидел теперь где-нибудь в сторонке, понутив голову, изредка покрикивал:

— Помалу, помалу, — и снова склонял голову.

Как-то он поздравил пленного к себе, который вез неполную тачку. Усадил его рядом, угостил сигаретой. Мы издали наблюдали, что будет дальше. Смотрим, немец лезет в карман. Ну, думаем, конец пришел нашему товарищу. Однако прораб достал бумажник, что-то показал плен-

ному, и они еще минут десять поговорили, затем пленный поднял свою тачку и поспешил к нам. Тут мы все и узнали...

Прораб приехал в Мюнхен, но семьи своей не нашел. Накануне союзники бомбили город, и в дом, где жила его семья, попала бомба. Жена и две дочери погибли. Он плакал, когда показывал пленному фотографию, на чем свет клял Гитлера, рассказал о разгроме немцев под Сталинградом. Так мы узнали о Сталинграде...

Когда помещения были готовы, пригнали голландцев. Их было около двух тысяч. Они шли строем по пять человек. В руках у каждого по два чемодана, все в новенькой военной форме. Нам и в голову не пришло, что это военнопленные, для которых мы готовили лагерь.

Мы наблюдали за ними из-за колючей проволоки. Вот передние остановились, поставили перед собой чемоданы. Они кричали нам: «Здравствуй, русишь!» Многие подошли ближе. Они долго всматривались в наши лица, а потом стали задавать вопросы. Они сразу поинтересовались, почему мы такие худые и оборванные. Генерал, который стоял у самой проволоки, сказал, что мы не человеки, а бог знает кто. Он сносно говорил по-русски, переводили наши ответы. Когда узнали, как нас кормят и как обращаются, стали возмущаться. Через проволоку полетели к нам сигареты, хлеб, сыр. Немцы заметили это и сразу отвели голландцев...

### *Из пятой тетради*

...С советскими военнопленными фашисты обращались, как с людьми низшего сорта, да что и говорить — за людей не считали вовсе. Нас запрягали в бричку по пять-шесть человек, и возили мы воду, мусор. Однажды прошел сильный дождь. Дорогу размыло. Бричка вязла. Мы выбивались из сил. Двое наших упали и не поднимались даже тогда, когда их били. Раздались выстрелы. Охранники пригрозили нам, что так будет с каждым саботажником...

Двое совершили побег из санчасти, которая не охранялась, а одно окно ее выходило прямо на улицу, в садик. Когда фашисты узнали о побеге, они согнали зло на оставшихся в лазарете больных. Их вывели на улицу, раздели донага. Весь день они стояли на солнцепеке, а кто не выдерживал и падал, того поролли плетью. Они лежали, к ним не разрешали подходить...

Голландцы решили организовать массовый побег. Офицер, говоривший по-русски, подошел ко мне:

— Убежим мы... Попадем к русским. Возьмут нас в Красную Армию?

— Кто же вам запретит сражаться против фашистов? — ответил я, прислоняя швабру к стене. — Но бежать-то теперь трудно — вас сильно охраняют...

Он взял меня под руку, отвел в дальний конец камеры.

— Мы хотим взять с собой пятерых русских, которые убирают нашу камеру, — начал он тихо. — Будете помогать нам копать тоннель...

Мы с воодушевлением стали рыть тоннель. В цементном полу подъезда пробили дыру за дверью. Под полом был подвал. Из него и начали копать на глубине полутора метров. Работали по ночам. На день под



застилали половичком. Землю носили в картонных ящиках, в которых голландцы получали продовольствие. От начала подкопа становились печочкой. Она тянулась на третий этаж, где находился зал со сценой. Туда, под сцену, и сыпали землю.

Все шло хорошо. Копали две недели. Немцы ничего не подозревали. Казалось, успех обеспечен, но помешал нелепый случай. Осталось копать совсем немного. На пути встретилась канализационная труба. Сверху проходил патруль с собакой. Она услышала, как по трубе звякнули киркой. Собака залаяла, заскребла землю. Немцы стали копать и обнаружили тоннель. Мы вовремя ушли...

**8** Я давно уже не лежу на кровати, а хожу по комнате, и даже не хожу, а как-то мотаюсь из стороны в сторону, то и дело беру со стола тетради и кладу их на место. От них пахнет плесенью, сыростью, и я открываю окно.

— Здравствуй, Андрюха, — слышу голос и вздрагиваю. Так, с присвистом, мог говорить только Васька Гаркал... Тот самый... Драчун, приставаала, лгунишка, а потом пьяница и преступник. — Не ожидал, небось? Иду мимо — огонек... Дай-ка, думаю, зайду, — врёт Васька, как обычно. Ведь по интонации голоса чувствую, что врёт. — Если сказать по совести, то соседка мне весточку принесла: приехал, говорит, к Пичугиным сын — важнецкий, солидный, с портфелем на двенадцать пузырей. — Васька улыбнулся, показывая золотые передние зубы, щелкнул себя по воротничку. — Пригласишь обмыть встречу?

Он стоит по ту сторону ограды — чуть выше ее, в черном костюме и в белой нейлоновой рубашке. С виду слабак, дунь — улетит. В детстве же был коварным и злым. Однажды закрыл нас с Толяном в подвале, и мы просидели в нем всю ночь, а утром, голодных, осипших от крика, нашли там нас матери, да еще дали хорошую взбучку. В школе он крал у меня учебники, вырывал из них листы и делал голубей, разбивал глиняные чернильницы, ломал о парту перья, а на больших переменах, когда мы обедали в школьной столовой, подливал в борщ редечного соку из пузырька, который всегда носил с собой. Сейчас даже трудно припомнить все обиды, которые он мне причинил, да и стоило ли? По-человечески надо бы сесть за стол да поговорить, да посмеяться над детскими проказами, если бы не одна обида, самая большая, от которой по сей день болит сердце.

— Заходи, — приглашаю его. — Мама, собери-ка чего-нибудь нам с Василием на стол.

— Может, не надо? — спрашивает она. — Будете ворошить...

Она не договаривает, уходит. Как я мог объяснить ей, что не могу прогнать человека, пришедшего ко мне в гости, человека, с которым сидел когда-то за одной партой. С чего началась наша вражда? Даже и сказать трудно...

Наших отцов в один день призвали на фронт. В один день мы получили похоронные. Но мой-то отец вернулся, а его — нет. Помню, как после войны я бегал встречать на вокзал отца. Он писал нам из Германии, последнее письмо прямо из Берлина.

На вокзале обычно творилось невероятное. Как только подъезжал поезд, начинал играть духовой оркестр. Толпа встречала демобилизованных воинов криком и ревом. Все целовались и плакали: мужчины, женщины, дети.

Отец все не приезжал, а я ходил. Однажды за мной увязался Васька. Он появился неожиданно, протянул мизинец: «Чур, не драться. Перемирие...» Идем вместе. Он рассказал, что ходит на вокзал встречать своего отца, что не раз видел там меня. Он не верит, что отец его погиб.

— Получили же вы письмо, — бубнил он. — Их вместе забрали. Значит, и мой с ним едет, с твоим-то... Не пишет потому, что тайно хочет нагрянуть, неожиданно, — глотал Васька слезы, — а я тут как тут: батя, скажу, айда домой...

В тот день мы никого не встретили. Возвращаемся домой подавленные, молчим. Вдруг Васька, немного отстав, влепил мне булыжником промеж лопаток. Отбежал в сторону, сел на пригорок и смотрит, как я корчусь на земле от боли. За что ударил? Я ведь верил ему, сочувствовал.

Теперь мы ходили на вокзал по одному: я по одну сторону дороги, он — по другую. Мне приходилось следить за каждым его движением, чтобы успеть увернуться от булыжника. И он за мной следил: Васька знал, что по неписаному закону улицы он рано или поздно получит по заслугам. И получил! Когда приехал мой отец, я отомстил ему. Он тогда возвращался домой с вокзала, а я из кустов попал в него из рогатки. Он схватил камень, бросился в мою сторону, но его всюду настигали мои меткие выстрелы, и Васька завопил:

— Сволочь, Андрюха! У тебя батя вернулся, а мой где? Их же вместе забирали-и-и... Хватит, выходи...

Мне бы тут выйти, но я не раз убеждался, что верить ему нельзя. Слезу с дерева, а он мне влепит кирпичиной. И я стрелял, пока Васька не убежал.

...Выхожу навстречу. Он протягивает мне руку, скромно улыбается, и мы впервые в жизни обмениваемся рукопожатием. Садимся за стол. Василий молча берет стопку, смотрит на свет: его лицо испещрено множеством мелких морщин. Волосы на голове редкие, с проседью, а глаза какие-то бегающие, стыдливые. Я потрясен: передо мной почти старик. Он выпил, не дожидаясь меня, закусил соленым огурцом.

— Дружок, Анатолий, помог — шелкнул он по золотым зубам ногтями. — Вернулся я оттуда — ни кола ни двора... Мамаша, царство ей небесное, богу душу отдала. Светлана уехала, да и не виню ее... Пришел к другу, вот он и помог. На работу устроил. Слесарем в домоуправление. Мастером, так сказать, по унитазам... Анатолия в городе знают. Сталевар... Фигура! Мог бы и в цех к себе. Ну, ладно, и на том спасибо. — Рот у Василия дернулся, и он прикрыл его ладонью. — Привел меня к батю своему. Живу у них в доме, который уже годочек... Стесняется меня последнее время мой дружок. К батю своему ходит, когда я на работе. К себе, боже упаси, не приглашает.

— Не женился? Чего так? — взял я рюмку. — Светлану забыть не можешь?

Василий налил еще, кивнул:

— Не могу, — он закусил губу, щеки его побелели, и я на мгновение уловил в нем черты прежнего Васьки, а потом его лицо вновь стало мрачным, глаза потухли. Он больше ничего не говорил, пил и ел, о чем-то сосредоточенно думал и, казалось, совсем забыл, что сидит у меня в гостях. Впрочем, он нисколько не мешал мне думать о своем...

Мы уже не дрались и не швырялись камнями. Мы повзрослели. Не могу до сих пор понять, чем Васька пленил Толяна. Стал я замечать тогда, что друг мой сторонится меня. Раз я их видел в кинотеатре, потом в городском саду. Говорил с Толяном, но он отмахивался. Васька торжествовал: он отнял у меня друга, с которым мы провели самые трудные годы... Нас с Толяном связывало много общего, а что могло быть между ними — совершенно разными людьми? Я укорял Толяна, назвал даже предателем, но его тянуло к Ваське.

Время шло. Я работал и учился в вечерней школе, дружил со Светланой. Наши родители стали поговаривать о свадьбе, и она бы состоялась, если б не Васька. Он преследовал Светлану всюду: дарил цветы, писал страстные письма, над которыми мы с ней потешались. Он был настойчив, одевался в меру модно. Мне бы давно надо было набить ему морду, но я верил Светлане, моей Светлане, которую знал с детства.

Помню, как тетя Лена, мама Светланы, застала нас в постели. Она резко сдернула одеяло, схватила дочь за волосы и рывком стащила на пол.

— Бесстыжая... Молоко на губах не обсохло...

Светлана поднялась, набросила на себя халатик, аккуратно висевший на спинке кровати. Глазки ее сверкали.

— Мы с Андрюхой решили пожениться... Вчера решили... И не вмешивайся в мои дела, — она передернула плечами.

— Муж, обьелся груш, — сказала тетя Лена. — Думаешь, что паспорт получила, так и взрослая стала, думаешь, управы на тебя нету?

Тетя Лена неожиданно плюхнулась на колени.

— Уходи, Андрей, как сына прошу... Вот и мать-то твоя сказывала, что обещал ей, как школу кончишь, в институт поступить... Уезжай, Андрей, оставь Светку... Малолетка она. После института свадьбу сыграем. Не послушаешь, к судье пойду: так, мол, и так, скажу, силой взял аль там хитростью... Нет, Андрей, не серчай, упаси боже, да разве я лихоманка какая, вы же дети мне. Мать-то твоя сутками в войну из цеха не вылазила, а я ходила за вами, обстирывала, кормила, из столовой, прости меня, душу грешную, под полой мяско да картошку да хлебушек таскала... Не послушаешь, вот крест, прямо с балкона на асфальт брошусь, — добавила она с отчаянием, и ее дряблые щечки-мешочки отвисли книзу.

Мне было жаль тетю Лену. Не так я представлял этот разговор. Собираясь сказать ей, что в институт не поеду, а буду работать и учиться в вечернем, что Светлану можно устроить на курсы кройки и шитья, что мы обо всем уже договорились, но, может, плохо сделали, что не посвятили в наши планы ее, тетю Лену, маму, и вот теперь она стоит на коленях, горем убитая.

Я так ничего и не сказал ей, а бросился поднимать и все не мог отор-

вать от пола. Наконец мне удалось усадить тетю Лёну на кровать. Я подмигнул Светлане, которая молча наблюдала за нами, скрестив на груди руки. Ее длинные русые волосы закрывали плечи. Серые глаза сузились, потемнели. Нахмуренные брови, вздернутый носик и плотно сжатые губы придавали пылающему личику упрямое выражение, вся ее поза была вызывающей.

— Комедию разыграла, — сказала она, скосив глаза в сторону матери. — Забыла, как тут гулянки устраивала. Тоже мне, мораль еще читает...

Светлана повернулась, вышла на кухню, хлопнула дверью. Я посмотрел на тетю Лёну: губы у нее подергивались, по щекам текли слезы.

— Так меня, дочь, так... Это за то, что жизнь прожила для нее, а могла выйти замуж, солидные мужчины сватались. Кому теперь я нужна, старуха-развалюха, а все думала, что Светка скажет да как поведет себя, упрямая, с отчимом. И опять, провались она, комнатуха-клетушка, а дочь большая, как бы отец-то родной был.

Тетя Лёна поднялась, вышла.

Мне все-таки пришлось уехать. Перед этим я предложил Светлане такой план: поскольку и мои родители пока против нашей женитьбы, я уезжаю в другой город, устраиваюсь там на работу, снимаю комнату; и тогда она приезжает ко мне. Светлана сказала: «Зачем съезжать с собственной квартиры? Мало ли чего маме вздумалось. Ничего, все перемелется...»

Светлана думала сломить мать упрямством. Мне казалось, что подойди мы к ней по-другому, и она бы согласилась на наш ранний брак. А тут, как говорится, нашла коса на камень. Я пришел к Светлане и объявил, что уезжаю на два месяца в командировку, а после буду сдавать экзамены в институт, что со свадьбой придется подождать. Светлана крикнула мне, что я трус, негодяй, что никогда не любил ее и как она не замечала этого раньше...

В тот же день Светлана ушла от матери. Тетя Лёна слегла. Она не плакала, а только тихо стонала. Меня к ней не пускала соседка, которая считала, что во всем виноват я. Тетя Лёна вышла ко мне тогда, когда ей сказали о моем отъезде. Она стояла на пороге своей комнаты и смотрела на меня внимательно и добро. Я переминался с ноги на ногу, перебрасывая из одной руки в другую чемоданчик, не зная, что делать, что говорить, — так потряс меня ее вид. Передо мной была худенькая, седенькая женщина с морщинами, которые глубокими бороздами пропахали ее лицо. Поразительно, как может измениться человек за несколько дней.

Тетя Лёна протянула руку, видимо, хотела погладить меня, но не осмелилась и только перекрестила да посмотрела так, будто собиралась что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелила губами. Я пытался к двери, не в силах повернуться к ней спиной, пяткой открыл дверь и тихо прикрыл ее за собой. В коридоре облегченно вздохнул, подумал о том, что через недельку-другую Светлана вернется и все будет по-нашему... Но получилось так, что никогда больше я не увидел тетю Лёну, не приходил в ту квартиру, в которой прошло мое детство, а раза два был на кладбище, клал на ее могилу цветы и уезжал.



В то лето пятьдесят третьего я с бригадой монтажников уехал в соседний городишко на строительство цементного завода. Вернулся через два месяца. Светлана за это время поступила в педучилище, жила в общежитии. Я пришел к ней вечером, но мне сказали, что она ушла с Василием на танцы, что она вот уже второй месяц встречается с ним и собирается за него замуж. Я был в отчаянии. Знал, что он не любит ее, объяснил ей это, дождавшись с танцев. А Васька, который сейчас сидит за моим столом, пьет мою водку, о чем-то думает, тогда стоял в сторонке и ухмылялся. Она прогоняла меня от себя. В ее глазах я был склочником, завистником, негодяем. А Васька стоял и ухмылялся. Осенью они сыграли свадьбу.

Молодожены стали моими соседями. Их дом, построенный тетей Верой и Васькиным отчимом, стоял через переулок. Мы с Васькой, встречаясь, не разговаривали, не здоровались. К ним иногда приходил Толян, и тогда из их дома слышалась музыка, веселые голоса. Я мучился, страдал. Больше так жить было невыносимо, и я уехал из родного дома навсегда.

И вот сейчас во мне с новой силой всколыхнулась ненависть к Василию. Это ведь он воспользовался моей размолвкой со Светланой и женился на ней, только чтобы досадить мне, ранить в самое сердце. Но за что? Разве я был виноват в том, что его отец погиб, а мой вернулся?

Наши взгляды встретились. Он будто проснулся. Лицо было помятым, глаза слезились. Я видел, что он хочет высказаться, кивнул ему, облокотился о стол, приготовился слушать.

— У меня там было немало времени подумать. Все-таки десять лет дали — не десять суток. Срок отвалили, скажу тебе, порядочный, а ведь не ограбил никого, не убил... Ранил ножом одного по пьянке. Вздумал, видите ли, за Светланой приударить... Началось через это, — Василий показал на бутылку с водкой. — Пил я здорово. Знал, что не любит меня жена. А я любил. Мне льстило, что увел твою невесту... Ведь мой-то отец матушку мою, царство ей небесное, из чужой деревни выкрал. Гнались за ним с ружьями да с кольем, как за зверем. В тайге скрылись, у кержаков два года жили. Потому отец-то мой уважал твоего за это самое происхождение, кержацкое. Эх, как пил я! — Василий схватился за голову, — заливал горе водкой. Мы оба с ней поняли, что поступили гадко. А какие истерики она мне закатывала! Когда освободился, хотел к тебе поехать. Думал, что ты поймешь меня, поможешь...

— Почему же ко мне? Хотя, конечно, помог бы.

— Так я думал. Видать, не ошибался. И потом — считал, что Светлана с тобой. Мне матушка перед смертью написала, что сбегла она. А к кому ей бежать-то, куда? Любила она тебя, вот так... Хотел Светлану увидеть. Приехал, а вы бы пожалели, простили, если виноват. Нельзя же человека ненавидеть всю жизнь. Я свое получил...

— Все гораздо сложнее, Василий. — Я налил в свою рюмку, выпил. — Вот думаю о прошлом и ничего не могу забыть, понимаешь, ниче-го! Получил ли ты свое, а мне что от этого? Ничего сейчас не вернешь, не поправишь. Ну, к примеру, чего хорошего видела с тобой Светлана? Бесконечные пьянки, драки. Нет, не любил ты ее...

— Понимаю... Все понимаю, — сказал Василий, подперев отяжелевшую голову руками. — Время было военное, как-то и ожесточился, других не жалел. Парни, которые постарше нас на пяток лет — совсем другие, да и те, которые помоложе, также не такие... Досталось нашему брату. Там, между прочим, таких, как я, было навалом. Наматывали нам на всю катушку. Годы, Андрюха, пропали зря. Понял я, что надо было преодолеть трясину, не поддаваться соблазну мелочной расплаты, но не хватало ума. Так много энергии потрачено впустую. Если бы не погиб мой отец... Будь же проклята эта война, мое детство, все, все...

Он резко поднялся, протянул мне руку, но я держал бутылку, а он подумал, наверное, что не захотел пожать ее, быстро спрятал руку за спину, повернулся и стремительно вышел. Я не ожидал этого, считал, что разговор только начался, и хотел открыть ему одну тайну. Уж больно разжалобил он меня. Тайна эта жестокая, и она постоянно мучает меня: я ношу ее много лет в себе, как тяжкий груз. И вот Василий ушел. Может, это и к лучшему. И я мысленно разговариваю с ним.

Ты был прав, Василий...

Светлана приехала ко мне. Да, ей некуда было тогда податься. Я остался единственно близким для нее человеком. Помню, в тот день, возвращаясь с работы, я попал под проливной дождь. Добравшись до своей комнаты на пятом этаже панельного дома, переодевшись в сухое, свалился на кровать. Ныли суставы, ломило поясницу, стучало в висках, поднялась температура. Раздался звонок. Еле поднявшись, буркнул: «Кого там черт несет?» и открыл дверь. На пороге стояла Светлана.

Она вошла в мою комнату с кричащим свертком в руках, в ситцевом платье, стоптанных туфлях. Под глазами — синие круги, лицо худое, постаревшее, редкие с проседью волосы лежали на плечах.

— Из роддома я... — Она посмотрела мне в лицо, будто мы расстались две недели назад. Я молчал, проглотив язык. — Сразу уехала, как Василия осудили. Пил он, дрался... Хватила я с ним горюшка, Андрей...

Светлана горько усмехнулась. Она сидела на стуле у стола. Ребенок у нее на руках продолжал кричать.

— Он и не знает, что сына родила. Свекровь-то, тетя Вера, от рака померла, а свекор продал дом и был таков. Одна я теперь, как перст. Что на мне — то и мое...

Сижу на кровати. Светлана будто в тумане. Сколько-то годочков я думал о ней, сколько ночей видел ее во сне. Не в одной женщине находил дорогие мне черты, а потом наступало горькое разочарование, и ничего у меня не оставалось, кроме боли в сердце, которая со временем усиливалась, терзала и опустошала мою душу. И сразу наваливалась смертельная тоска, адски больно было на душе, и казалось, будто конец надеждам и желаниям, что никому ты на свете не нужен. В иные ночи приходила бессонница, и как я ни зашторивал окна — заснуть не мог. Вскakiвал, одевался, выходил на улицу, бродил по площадям, темным аллеям городского парка. Уставший, возвращался домой...

— Кроме тебя, у меня никого нет... — слышу голос Светланы. — Не молчи, ей-богу, тяжело-то как...

Думаю, что надо бы встать, открыть сервант и отдать Светлане день-

ги, что-то около трёхсот, хватит ей на первый случай, а там видно будет. Но подняться нет сил. Шарю глазами по столу, вижу ключик, говорю: — Там, в серванте, возьми...

Светлана презрительно, как бывало, передернула плечами, встала, направилась к выходу. Ну и характер! И ведь уйдет, теперь уже навсегда. Навсегда?..

— Света! — крикнул я. — Куда же ты?.. Девчонка! Люблю же я тебя, черт его поberi, на всю жизнь люблю...

Она вернулась, встала около меня. Ее глаза были широко открыты, а лицо — мокро от слез.

Через несколько месяцев я назвал мальчика Олежкой и записал его на свою фамилию. И все считают, что он мой сын, да и мне иногда кажется, что Олег, которого вырастил и воспитал, мой сын, Олег, который похож на маму, мою жену Светлану, родившую мне второго сына Игорька, сейчас служит в армии и скоро приедет домой на побывку. У него должен быть один отец.

**9** Мама смотрит то на меня, то на дверь, за которой скрылся Василий, не понимая, что произошло. Где же ей, вечно, бывало, занятой, знать обо мне, если не все, то хотя бы самую малость. И почему уехал из дому, не спросила и никогда особо не интересовалась, как я там живу.

Я рассказывал ей о себе, а она кивала в ответ: «Знаю, сынок, отец-то был у тебя. Не могу я ездить. Ноги болят... Помнишь, как Абу вброд переходили? Ты на мне верхом — мостик тогда сломался. Осенью это было. В обход-то не хотелось... Месяц тебя в заводскую столовую водила, да все по воде холодной вброд-то, вот и застудила ноги, а оно к старости все сказывается. Хорошо, хоть тебя одного на горбушке таскала. Людмила-то в санатории была...»

Отодвигаю стакан в сторону и надолго погружаюсь в свои мысли. Думаю о том, что между мной и мамой никогда не было теплых отношений. Уже сейчас, когда мне за сорок, я часто наблюдаю, как женщины ласкают своих детей, и отворачиваюсь в сторону, потому что не испытал ничего подобного. Мне до сих пор кажется, что это «телячьи нежности», и я даже покрикиваю на жену, которая прямо-таки зацеловывает Игорька. Сам я лишний раз стесняюсь погладить сына по головке или просто прижать к груди.

Всю любовь и нежность мама отдавала Людмиле. На двоих ее, по-видимому, просто не хватало. Мама каждое лето отправляла сестренку на дачу, в санаторий, в пионерский лагерь. И в те дни, когда рядом не было Толяна, со мной всегда была Светлана. Я заступался за нее, помогал в учебе, и многие в школе думали, что моя сестренка не Людмила, а Светлана. Наша дружба с ней началась с одного удивительного случая, о котором мы часто теперь вспоминаем...

Мы со Светланой лежим под высокой кроватью, купленной моим отцом перед войной. Спинки у кровати металлические, с четырьмя блестящими шарами. В первые дни, когда ее поставили, я свинчивал шары и катал их по полу, неровному, крашенному ужасной грязно-коричневой

краской. Этажом ниже, под нами, жила тетя Вера, мать Васьки, сварливая, сухая и сутулая, которая сразу же прибегала, трясла кудряшками, стонала:

— Боже мой, ну и бес... Покою от него нет...

Я продолжал играть, как ни в чем не бывало, будто и не стоит на пороге тетя Вера в длинном крепдешиновом платье с плечиками, отчего ее фигура кажется плоской, как стиральная доска. Удивляюсь, как мог дядя Петя выкрасть ее из другой деревни, такую страшную. Не замечаю нахмуренных, подведенных тушью бровей, поджатых в ниточку губ и хрящеватого побелевшего носа. Она грозит мне пальцем:

— Стучи, идол, стучи, скажу Васятке. Он тебе прищавую морду разукрасит...

Она хлопает дверью, а я катаю шары. Они гремят, стучат. Нет, не любил я тетю Веру. Для меня было наслаждением дразнить ее, а с Васькой, сыном ее, мы учились в одном классе, третьем, и сидели за одной партой. Интересно, помнит ли он эту пору нашего детства? Он был второгодником, постарше меня, верховодил в классе, всех задира, но в общем-то был трусишкой.

Васька остановил меня на улице.

— Я тебе сейчас покажу, как шарами стучать, — улыбаясь, сказал он. — Чё ты, Андрюха, мамку дразнишь?

— Ха, заступник! Слабак ты показывать. Бомба на отвале ахнула — чуть в штаны не наделал.

Васька осканился, побелел, толкнул меня в грудь. Он быстро надвигался на меня, и я увидел его серые бешеные глаза. Между нами мельтешил Толян, размахивал руками, бубнил: «Вы чё, пацаны, да не надо, вы чё...» Вдруг кто-то шикнул на нас. Я увидел, что вокруг стоит много людей и все смотрят вверх, в черный репродуктор, который зонтом висел на столбе, обклеенном разными объявлениями, вроде: «Меняю мешок овсяных отрубей на фуфайку...».

«...Наши войска после упорных и продолжительных боев с превосходящими силами противника оставили город Харьков», — звучал голос Левитана. Толпа стояла молча. Мы с Васькой опустили руки, забыв о драке, глядели в землю. Наши отцы воевали вместе на харьковском направлении.

Переворачиваюсь на спину. Подо мной старенький мамин тулуп. Светка хнычет. Тетя Лена побила ее и отправила ко мне под кровать. «За что, за что?..» — канючит она, утирая слезы о мое плечо.

Квартира наша на два хозяина. В маленькой комнате живут тетя Лена, дядя Коля и Светка. Дядю Колю вместе с моим отцом взяли на фронт. Мы с мамой и Людкой живем в комнате, которая побольше. В ней две кровати, стол, комод, этажерка с книгами, в основном по домоводству и слесарному делу, да у окна фикус в кадке.

Кухня у нас общая, большая, с широкой печью, отдельной комнатухой-умывальничком. В кухне два обеденных стола, стулья и ящик с углем и дровами. Коридор просторный. В нем до войны, рядом с туалетом, стояли два велосипеда. Они проданы были, когда потребовались деньги на проводы наших отцов на фронт, и коридор стал пустым, неуютным.



Хорошо мы жили до войны, дружно. Взрослые никогда не ссорились, Людка и Светка родились здесь, не то что я — в каком-то стареньком бараке. Когда его ломали, то все мы ходили смотреть. Над баракком стояла густая пыль. Рабочие крушили стены, отдирали хорошие доски. Мама даже прослезилась, сказала, что в этом бараке прошла ее молодость.

Светка все канючит. Я толкаю ее локтем и выглядываю из-под кровати. Вижу: за столом сидят женщины. Поют заунывные песни, обнимаются, пьют из алюминиевых кружек водку, закусывают огурцами и квашеной капустой.

Тетя Лена сидит ко мне спиной, опершись круглыми локтями о стол. Жует медленно, старательно. Представляю полное, с заплывшими глазами лицо и руки — тяжелые, короткие, будто валики, и мне стало жаль Светку.

— Есть хочу, — хнычет Светка.

— Потерпи, не сдохнешь, — говорю, подражая тете Лене, и Светка тычет мне кулачком в бок. — Будешь драться, отправлю к матери, она тебе опять наподдаст.

Светка сердито сопит, а я закрываю глаза, хотя спать не хочется, да и где тут заснешь, когда шумят. Ведь совсем недавно было иначе. Собирались женщины, а как они пели, шутили, баловали нас, детей, и даже тетя Вера не была такой злой и занудливой. Это было до тех пор, пока тетя Лена и тетя Вера не получили похоронные...

Рано утром мы съезжаем по перилам вниз и высакиваем из подъезда. Сразу поеживаемся от ранней утренней прохлады. Солнце светит прямо в лицо. Молча идем по густой росистой траве. Проходим березнячок. У меня промокли штанины. Старательно обходим высокую крапиву, прыгаем через маленький ручеек, впадающий в Абу, и оказываемся на небольшой песчаной косе.

Ложусь на песок и смотрю в воду. У самого берега мечутся стаи мальков. Бросаю камушек. Мальки исчезают в мути, но вскоре появляются снова. Светка ложится рядом. Купаться еще рано. Солнце немножко поднялось, но греет плохо. «Когда папа вернется, я все ему расскажу, — вдруг говорит Светка серьезно. — Мой папа живой...» Она еще что-то хотела сказать, но вскочила, сбросила платице и с разбегу прыгнула в воду. Она смеется, и ее чистый голосок колокольчиком звенит над рекой. Мы возвращаемся бегом. У дома встречаем ватагу ребятни. Толян кричит: «Айда, Андрюха, еще купаться...» Мотаю головой, захожу в подъезд вслед за Светкой. Поднимаемся в квартиру. Мама ушла на работу. Тетя Лена заканчивает уборку. Она работает в столовой, поэтому не спешит. «Тарелки подождут, не треснут», — обычно говорит она. А в нашей комнате все прибрано. На столе записка: «Андрей, завтрак на кухне. Обед сваришь сам. Есть немножко картофеля, пшено, банка тушенки». Кладу записку, но что-то мучает меня. Вновь беру записку, читаю. Ага, вот оно, это слово... «тушенка», та самая, которая осталась после вчерашних гостей. Иду на кухню. Открываю стол, достаю банку, подхожу к окну, распахиваю его и швыряю тушенку прямо в помойную яму. Тетя Лена ахнула, но тут же присела. В ее комнате раздался тонкий звон.

— Ах ты, паскудница, — взвизгнула тетя Лена. — Любимую вазу, хрустальную расколола. Я ж тебе задам...

Она сгребла Светку, зажала ее голову между толстых ляжек, задрала платице и начала нахлестывать ремнем. Точно так, как тетя Вера недавно лупцевала Ваську. Его-то соседи выручили, а кто из взрослых придет на помощь Светке, когда все на работу ушли? Тетя Лена стоит несокрушимо, методично взмахивает ремнем, а Светка кричит, извивается, и ее маленькое тельце покрывается красными пятнами. Я не выдерживаю, бросаюсь к ним, висну на руке тети Лены, но она отшвыривает меня к стенке. Вскикиваю, снова висну на руке, а она перебрасывает ремень в левую руку и хлещет меня по голове. Чувствую острую боль в правом ухе, в глазах круги. Ухо сразу вспухло...

В бессильной ярости хватаю швабру, размахиваюсь и бью ею по ненавистной спиняке. Тетя Лена оставила дочь, повернулась ко мне, выставила вперед руки и, шевеля пальцами, пошла на меня. Я размахнулся и ударил шваброй по руке. Тетя Лена отступила, села на кровать и стала смотреть на меня так, будто впервые видела. Она поднялась, но я угрожающе поднял швабру, и тогда она запричитала: «Рученьки вы мои, рученьки, побил вас этот разбойник... Ах, доченька, моя единственная, да черт с ней, с вазой, да зачем я так-то с тобой...».

Светка стояла около меня. Я поставил швабру на порог, прислонил ее к косяку. Мы пошли на речку. Я обнял Светку за плечи и подумал о том, что отныне буду всегда защищать ее и никто никогда нас не разлучит. А осенью мы вместе будем ходить в школу: я, Толян и Васька в четвертый класс, Светка и Людка — в первый.

**10** — Мама, пойду посплю, — говорю я и поднимаюсь. — Если что, буди. И Людмила, когда приедет, пусть не церемонится.

И опять я в комнате один, как в те далекие времена юности. Тогда здесь были книги, стояла радиолка с набором пластинок, а сейчас вот отцовские тетради. Ему будет приятно, когда скажу, что прочел их все до единой, что они прекрасно сохранились. Он всегда хотел, чтобы я прочел их. Сколько тетрадей осталось — две, три... Я начинаю думать, как отец, когда представляю кровавые этапы двадцатого века: фашизм, минувшую войну, концлагеря для миллионов, где методично и последовательно уничтожались люди. Самое страшное преступление против человека — это убедить его в своем ничтожестве, отнять у него чувство собственного достоинства, самоуважения.

Я думаю о современном мире. Убежден, что большинство людей хотят сделать мир добрее. И я хочу, чтобы мои сыновья жили в более добром мире, чем тот, в котором прошла моя юность.

### *Из шестой тетради*

...В мае 1943 года исполнилась годовщина моего заточения. Этот месяц был еще «знаменателен» тем, что к нам прибыл власовский агитатор. Камеры гудели, как растревоженные ульи. Тут же нашлись смельчаки,

которые вызвались убить предателя в камере, но этот план был отвергнут, так как могло пострадать много невинных людей. Голландцы посоветовали нам гнать власовца в шею.

Три дня ходил по камерам предатель. Наконец очутился в нашей. Нас было сорок человек. Он грузно уселся за стол. Долго молчал. Немецкая солдатская шинель была небрежно наброшена на плечи; он прятал круглое белое лицо в воротник, поглядывал на нас пытливо, косился через плечо на дверь, за которой стоял охранник. Потом стал тихо, с шепелявинкой, рассказывать о себе: служил воентехником, попал в 1942 году в плен, многое перенес. Назвался «Киевским», но мы так и не поняли, кличка ли «Киевский» или фамилия, а спросить постеснялись.

— Полицаи тут есть? — между тем задал он вопрос. — Не люблю я этих гадов. Сам испытал их зверства. Сколько они русской крови пролили. Отольются им наши слезки. Мы уже многих полицаев расстреляли. Среди них были коммунистические агенты. Это они издевались над пленными, над мирным населением, вызывая недовольство против немцев.

Ему сразу возразили:

— В немецкой полиции тоже есть коммунистические агенты? В гестапо?..

— Друзья мои, — будто не слышал власовец. — Прошу записываться в нашу армию... Чего молчите? Думаете, что я предатель?

Крикнули:

— За дешевку проданся... Нас-то не купишь, шкура...

— Уже и ругаться, — вроде обиделся предатель. — С вами по-хорошему... Не предатель же я, — нисколько не смущаясь, сказал власовец. — Мы защищаем Родину... от коммунистов.

— Мели, Емеля... Защищаете Родину? Проданся за котелок баланды...

Поднялся пленный, средних лет, задрал рубашку и показал шрамы на спине и груди.

— Это, господин агитатор, фашисты разукрасили. Такие отметины у каждого из нас имеются. — Он опустил рубашку. — Говоришь, в плену был? Покажи, где там у тебя такие шрамики? Чего, гад, молчишь? — двинулся к власовцу пленный, и тот вскочил, попятился к двери. — Паскуда вониючая... Да ты знаешь, сколько тут фашисты наших замучили?

В камеру ворвалась охрана. Нас оттеснили прикладами от власовца, пригрозили, что если мы и дальше будем себя вести подобным образом, то нас отправят туда, откуда живыми не возвращаются...

### *Из седьмой тетради*

...На плацу отобрали большую группу военнопленных для отправки в другой лагерь. В нее попали все обитатели нашей камеры. Не дав опомниться, нас погнали на вокзал. Голландцы махали нам руками, бросали продукты прямо в строй. На вокзале нас рассадили по трем товарнякам, и мы поехали. В нашем вагоне нар не было, значит, решили мы, повезут недалеко. Итак, прощай, Станіслав, прощайте, голландцы!

В Перемышль мы приехали вечером. Нас высадили, построили и погнали в Пикуличи, где находился лагерь для советских военнопленных. В Пикуличах нас пересчитали почти наощупь, закрыли в сарае, где мы и разместились на ночь на соломе. Этот лагерь был с самого начала войны превращен в лагерь смерти. В нем было 75 тысяч военнопленных, а к моменту нашего прибытия осталось полторы тысячи.

Мы рыли траншеи. Работа была тяжелая, а кормили плохо. Многие маялись животами. В лагере существовала больница, И врачи ее, и санитары были из военнопленных. Только главврач был немец. Как правило, в плену никто не называл своего настоящего имени, тем более фамилии.

— Я нахожусь здесь с самого начала, — сказал мне врач. — Не помню, чтобы кто-то выходил отсюда живым. Лекарств нет и не было. Люди умирают, в основном, от истощения. Нужно питание... Лучше сюда не попадать...

Мне повезло. Благодаря моим землякам, я попал на легкую работу — в инструменталку. Там я познакомился с людьми, мечтавшими о побеге.

Через две недели мы сделали попытку убежать. Пролезли впятером по канализационной трубе, чуть не задохнулись, а когда дошли до конца, то наткнулись на толстую решетку. Пришлось возвращаться. Мы успели как раз к утренней поверке, и наши товарищи сумели быстро переодесть нас.

Нам стало известно, что лагерь охраняют власовцы. Мне поручили поговорить с кем-либо из них. Это было рискованно, но необходимо, и я согласился. Подошел к караульному, стал ждать. Вдруг выходит Петр Гаркал. Вот так встреча!

Я растерялся, а он смутился, хотел пройти мимо, но я загородил ему дорогу.

— Как же это?.. Как ты мог?.. Выходит, предал. Знать бы, в болоте тогда утопил. Чуть фашист за тебя очередью не срезал...

Петр стоял, опустив голову.

— Устал в ожидании смерти, — начал он оправдываться. — Убивали, вешали, истязали, сжигали живьем... А я домой хотел...

— Теперь-то тебе дорога домой заказана.

— Не ты ли будешь меня судить и миловать? — Его глаза недобро блеснули. — Я-то вернусь, а вот ты... Жизнь человеку дается один раз. Форму эту вонючую, придет время, в землю зарю — и шито-крыто. Кроме тебя, моего имени никто тут не знает, вот шлепну — и дело с концом. А там — свобода. В партии восстановят. Буду после войны приезжать сюда и класть к памятнику замученным военнопленным цветы, если его вообще здесь когда-нибудь поставят...

— Негодяй, — оборвал я его. — А ведь ты не был таким. Нет, не выйдет у тебя ничего. Получишь, предатель, по заслугам. А я ничего тебе не скажу. Пусть думают, что ты погиб за Родину.

Петр вскинул карабин. Дело принимало скверный оборот. Смерти я не боялся. Не раз смотрел ей в лицо. Но что приму ее от Петра Гаркала — и во сне не могло присниться.

— Не спеши, Петр, успеешь, — сказал я с легкостью, чем сразу обес-



куражил его. Он опустил оружие. Видимо, нелегко убить близкого человека, хотя у меня бы, например, рука не дрогнула, расстрелять предателя. — За делом к тебе. Хочу поговорить откровенно... Мыслишка у меня есть. Не думаю, чтобы ты за откровенность платил подлостью.

— Выкладывай, — буркнул он, озираясь, — поживем...

— Сам знаешь, Красная Армия близко. Есть шанс искупить свою вину. Вас тут взвод. Вы еще сможете спасти от смерти сотни людей. А какой бы партизанский отряд был!

— Мы перебьем немцев, вы получите оружие и постреляете нас, предателей, — усмехнулся Гаркал. — Наши на это не пойдут. Между прочим, такое уже было... И вот что: уходи, пока цел...

Я не стал больше искушать судьбу, повернулся и ушел. Но не сдержал своего слова землячок. Убить-то меня у него духу не хватило, так решил чужими руками расправиться. На вечерней поверке я был отведен в карцер. Несколько дней сидел на воде. Меня пороли плетью, пинали ногами в живот, в пах... Меня, видимо, спасло то, что я без устали твердил: узнал земляка, когда увидел, как он принимал караул, говорил с власовцем по собственной воле.

Меня перевели в капут-команду. Это была адская «работа». К тому же фашисты позже целиком расстреливали капут-команды, чтобы скрыть свои преступления, и набирали новые. Нас усиленно охраняли, изолировали от остальных военнопленных. Я чувствовал, что эпопея моя вот-вот закончится. Выхода не было. Круг, таким образом, замкнулся.

Военнопленные теперь в лагерь почти не поступали, а рабочая сила фашистам была нужна. Нас стали кормить получше. В лагере ежемесячно проходили врачебные комиссии, на которых отбирали здоровых людей и отправляли на работы в Германию или на военные объекты. Так появился шанс на спасение. План созрел мгновенно. Когда приехала комиссия и на плацу установили столы, за которыми уселось начальство, я бегом бросился в толпу и смешался с нею. Среди нескольких сотен человек нелегко было отыскать меня. На это потребовалось бы немало времени, а немцы спешили... В числе пятидесяти человек, отобранных для рытья укреплений, оказался и я...

### *Из восьмой тетради*

...Нас перевели в Перемышль. Лагерь считался образцовым. Он находился на окраине города. Неподалеку проходила железнодорожная линия, и было хорошо видно, как на восток идут войска, а на запад — эшелоны с ранеными.

Из этого лагеря, хотя он и был «образцовым», мы решили бежать. Мы — это пятнадцать смельчаков. Разработали план побега, но когда подошло время действовать, нас осталось трое: два Николая, большой и маленький, и я. Остальные под разными предлогами отказались.

Наши бараки, каждый в отдельности, были опутаны проволокой. На углах лагеря-квадрата стояли вышки с пулеметами и прожекторами: каждую сторону высвечивали так, что мышь не могла проскочить незамеченной. По ту сторону стен из колючей проволоки, по тротуару, кото-

рый на полметра поднимался над землей, ходили патрули с собаками. Бежать, перерезав проволоку и остаться незамеченным, было почти невозможно. Вот почему другие отказались. Однако я решил, ибо считал, что другого выхода нет.

18 сентября 1943 года в 18 часов раздался свисток на вечернюю поверку. Мы, решившие бежать, стояли рядышком. Говорить было не о чем. Мы даже не знали настоящих имен друг друга. Для чего? Если повезет, потом и познакомимся. Поверка окончена. Пленные стали расходиться. Мы отделились от всех и прижались к стене барака. В 19 часов в ограде уже никого не было. Стоим. Помаленьку стало смеркаться.

Мы осторожно поползли к первой стене. Коля-большой с кусачками впереди, я за ним, Коля-маленький ползет последним. Залегли. Коля быстро перерезал проволоку, шепнул: «Готово...» Ползем дальше. Удачно минуем вторую и третью стены, подползли к последней, залегли. По тротуару ходят немцы. Собаки с ними нет. Возможно, появится позже. Надо спешить. Прожектор светит чуть-чуть в сторону.

Патруль поравнялся с нами. Лежим в густой лебеде. Затаили дыхание. Немцы тихо поговорили, разошлись. Ждем, когда немножко удалятся. Вдруг луч прожектора осветил нашу сторону. Вдавились в землю. Медлить теперь — значит погибнуть: охранники подойдут сюда, без труда обнаружат, расстреляют в упор. Мы это отлично понимаем. Я толкаю Колю-большого, и он протягивает руку к проволоке. Щелк, еще щелк. и еще... Коля оказался на той стороне. Сразу ударил пулемет.

Коля был убит на тротуаре. На миг я припал к нему. Коля-маленький крикнул: «Назад...» Но я знал: назад уже нельзя. Я кинулся в картофельную ботву, пополз. Отсеченные пулями листья сыпятся мне за шиворот. Вот это огонь! Ползу долго, кажется, вечность, на самом деле — считанные минуты.

Когда поднял голову, то увидел, что нахожусь на кладбище. Сел, перевел дух. Стрельба не утихает, а разгорается сильнее. Тут ракеты осветили местность, и я увидел кустарники, побежал к ним. Над головой запели пули. Бегу, согнувшись, а потом ползу на четвереньках. Ракеты падают рядом, шипят и гаснут.

Вдруг сваливаюсь в воду. Ракета осветила маленькую речушку. Сзади залаяла собака. Это уже плохо. Иду в воде, вдоль берега. Овчарки лают совсем близко. Не уйти... Тоска сдавила грудь, ноги и руки не слушаются. Все это походит на кошмарный сон. Падаю в воду, инстинктивно срываю камышинку... Мозг работает лихорадочно... Продуваю камышинку, беру в рот, ложусь на дно, хватаюсь за коряжину, чтобы вода не вытолкнула меня на поверхность.

Не помню, сколько лежал под водой. Окоченел. Воды нахлебался порядком. Когда стало невтерпёж, вынырнул. Темно. Стреляют впереди. Выбираюсь на берег, иду... Набрел на поле с брюквой. Вырвал две штуки, одну очистил и съел, другую сунул за пазуху. Пошел на запад, ориентируясь по звездам, а не на восток, где меня, возможно, поджидали. Мне пригосилось чутье охотника. Но теперь я был зверем, уходившим от погони. Мне нужен был лес. Для меня, родившегося в глухой сибирской тайге, лес — это дом родной. В нем я не пропаду...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Это была последняя уцелевшая тетрадь. Да и эти-то, уцелевшие, читал с пятого на десятое, потому что многие странички отсырели, чернила расплылись. Большая стопка тетрадей, совершенно испорченных, лежит в стороне. Какая досада! Как партизанил отец, как воевал в действующей армии, брал Берлин, все — в них. О судьбе Петра Гаркала, отца Васьки, там тоже было, несомненно было, ибо отец несколько месяцев был в тех краях. Но он мне никогда об этом не рассказывал. Жаль, что я не прочел этих тетрадей раньше.

Вздыхаю, складываю их в чемодан. Нет, надо спросить обо всем отца. Вот только проснется... Заходит мама, губы ее подергиваются, глаза влажны. Еле выговаривает: «Андрей, отец-то...» Все понимаю. Пол качается вместе с кроватью. Во рту пересохло. Иду за мамой в комнату к отцу.

Он лежал в такой же позе, в которой я оставил его, и умер, по-видимому, сразу, как только я вышел в сенки за рукописью, а мама ошиблась, подумала, что уснул. Смотрю на него и еще как-то не осознаю, что отца уже нет. Перевожу взгляд на его довоенный портрет, висящий над кроватью. Сколько, бывало, в детстве изучал эту единственную фотографию. Когда ходил на вокзал встречать отца, то был уверен, что узнаю его среди сотен людей. Ходил, но так и не встретил...

Он пришел рано утром. В новенькой шинели, с новыми солдатскими погонами, с рюкзаком за плечами. Остановился в дверях, смотрит на меня и сестренку. Я мигом узнал его, бросился на шею, он стал целовать меня и гладить по голове шершавой ладонью, а когда протянул руки к Людке, то она спряталась под одеяло и никак не хотела вылазить из-под него.

В комнате тишина. Мама сидит у кровати и плачет. Хлопнула калитка. Наверное, Людмила приехала. Надо предупредить ее, подготовить. Медленно иду к двери и на пороге сталкиваюсь с незнакомым мужчиной. Он высок, плотен. На нем серый костюм, белая рубашка, яркий, по моде, галстук. И лицо крестьянское: широкое, озабоченное, лоб крутой, с единственной глубокой морщиной, а нос большой, мясистый. Стоит, широко разведя руки. Уж не Толян ли? Гляжу на него и не узнаю. Прежнего-то я любил, за того мог в огонь и в воду...

— Андруха, черт тебя побрал! — отчаянно говорит он. — Где пропал столько лет? Убить тебя, черта, мало...

Мы обнялись. Он был повыше меня и покрепче. Прижал меня так, что хрустнули косточки. Вдруг Толян обмяк, опустил плечи, и я понял, что он через мою голову увидел в комнате маму, скорбно сидящую у изголовья умершего отца.

— Идем к нему, Андрей, — печально говорит он. — Мы ведь с ним, пока ты мотался по свету, ох, какими друзьями были...

Еще раз хлопнула калитка. Это Людмила. Я узнал ее шаги — нетопливые, твердые, и размеренный перестук каблуков по бетонным плитам кузнечным молотом отзывался в моем сердце.